

И. Э. Бабель

ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ
КОНАРМИЯ

Классики
и
современники



Классики и современники

Исаак Бабель

Одесские рассказы. Конармия

«Художественная литература»

1913-1926

УДК 82/821.161.2

ББК 84Р7

Бабель И. Э.

Одесские рассказы. Конармия / И. Э. Бабель — «Художественная литература», 1913-1926 — (Классики и современники)

ISBN 978-5-280-03952-0

«Одесские рассказы» Бабеля – цикл новелл об Одессе и ее реальных жителях – Мишке Япончике, Соньке Золотой Ручке, которые воображением писателя превратились в художественно достоверные образы: Бени Крика, Любки Казак, Фроима Грача, живущих в гиперболизированном, почти мифологическом городе, населенном персонажами, в которых, по словам писателя, есть «задор, легкость и очаровательное то грустное, то трогательное чувство жизни». Чтобы окунуться в атмосферу описываемых криминальных одесских будней, Бабель снимал комнату на Молдаванке у старого еврея Цириша, который был наводчиком у бандитов и получал свой «карбач» от каждого грабежа. По легенде, именно там и подсмотрел Бабель сюжеты для этих известных на весь мир «Одесских рассказов». Во время пребывания в Первой Конной Бабель постоянно вел дневник, ставший основой цикла рассказов о Конармии 1923–1926 годов. «Конармия» Бабеля сильно отличалась от красивой легенды, которую сочиняли о буденновцах официальные средства информации. Молодой писатель показал и неоправданную жестокость, и животные инстинкты солдат. Без преувеличения можно сказать, что «Конармия» стала документом и литературным шедевром, ради создания которого писатель пожертвовал собой. Вокруг книги разгорелся нешуточный скандал. Рассказы принесли автору славу и одновременно ненависть руководителей Первой Конной армией Буденного и Ворошилова, а также многих официальных историков. Но... шедевр пережил и хулу, и похвалу и остался – шедевром.

УДК 82/821.161.2

ББК 84Р7

ISBN 978-5-280-03952-0

© Бабель И. Э., 1913-1926

© Художественная
литература, 1913-1926

Содержание

«Времена не выбирают, в них живут и умирают...»[1]	8
Автобиография	12
Одесские рассказы	13
Король	13
Как это делалось в Одессе	17
Отец	22
Любка Казак	27
Справедливость в скобках	31
Конец богадельни	35
Фроим Грач	40
Закат	43
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Исаак Бабель

Одесские рассказы. Конармия



© Оформление А. О. Муравенко, 2022

© Издательство «Художественная литература», 2022



«Времена не выбирают, в них живут и умирают...»¹

Исаак Эммануилович Бабель (настоящая фамилия – Бобель) родился 13 июля 1894 года в Одессе, в довольно зажиточной еврейской семье, был третьим ребенком. Несмотря на то что в своих рассказах писатель представил отца обедневшим лавочником, а родных «обездоленными и запутавшимися людьми», дочь Бабеля, Натали Бабель-Браун, заявила, что на самом деле ее отец сфабриковал эту и другие биографические подробности, чтобы «создать прошлое, которое бы идеально подходило молодому советскому писателю, который не был членом Коммунистической партии». На самом деле его отец – Эммануил (Менахем Манис) Бобель, был купцом 2-й гильдии, торговал импортным сельскохозяйственным оборудованием в собственной доходной лавке.

Прожив недолго в Одессе, семья Бабелей уехала в Николаев, где Эммануил Исаакович поступил на службу в фирму Бирнбаума по торговле сельхозмашинами. Фирма процветала. Кроме техники Бабель торговал пожарными насосами, медным купоросом и чугуном в чушках.

К сожалению, несчастья личного характера преследовали семью. Один за другим умерли старшие дети Арон и Анна. Выжить удалось лишь Исааку. Первоначальное образование будущий писатель получил дома. В своей автобиографии Бабель писал: «По настоянию отца изучал до 16 лет еврейский язык, Библию, Талмуд. Дома жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе». Учился мальчик хорошо. Особенно легко давались ему языки. Исаак легко освоил английский и немецкий, в совершенстве знал идиш и иврит, а по-французски говорил также бегло, как и по-русски. В Николаеве он поступил в подготовительный класс коммерческого училища им. графа С. Ю. Витте. Там же 16 июня 1899 года в семье Бабелей родилась единственная сестра Исаака – Мера.

Сколотив достаточный капитал, семья вернулась в 1905 году в родной город Одессу. Отец всегда мечтал о том, чтобы сын пошел по его стопам и стал коммерсантом. Именно ему Эммануил Бабель хотел оставить доходный семейный бизнес. Поэтому под давлением отца Исаак поступил в Одесское коммерческое училище имени императора Николая I. Программа училища была очень насыщенной. Изучались химия, политэкономия, законоведение, бухгалтерия, товароведение, три иностранных языка и другие предметы. Отец души не чаял в сыне, буквально боготворил его. По настоянию отца он обучался игре на скрипке у знаменитого мастера Петра Соломоновича Столярского. В то время мальчику едва исполнилось 15 лет. Именно в этот период Исаак начал писать. В течение двух лет он сочинял по-французски под влиянием Г. Флобера, Ги де Мопассана и своего учителя французского языка Вадона. Отец так отзывался о его литературном творчестве: «Были “заскоки” – ночами марал бумагу, что-то писал по-французски, а написанное прятал». Эммануил Исаакович за это шутя называл сына «графом Монтекристовым».

В 1912 году Исаак Бабель окончил Одесское коммерческое училище. Но, к сожалению, не имел права поступить в Одесский университет, потому что для этого требовался гимназический аттестат. Поэтому родители решили отправить сына в Киев, где был Коммерческий институт. Во время Первой мировой войны Исааку Бабелю пришлось эвакуироваться вместе с институтом в Саратов. Несмотря на трудности, юноша в 1916 году окончил институт, получив ученую степень кандидата экономических наук.

Женился Исаак в служебной командировке, куда отец послал юношу закупать сельскохозяйственные машины у крупного киевского промышленника Гронфайна. Там-то и познакомился молодой человек со своей будущей женой – Евгенией Гронфайн. Никаких шансов получить разрешение на брак у молодых влюбленных не было – отец девушки не видел выгод-

¹ Цитата из стихотворения А. С. Кушнера.

ной партии в браке своей дочери с одесским студентом. Влюбленные бежали в Одессу, где их обвенчал местный раввин в синагоге. Отец невесты не принял этот брак, считая его мезальянсом, лишил дочь наследства и проклял весь род Бабелей до десятого колена. Взбешенный отец жениха отказал сыну в денежных дотациях на дальнейшее образование. Тогда юноша решает уехать в столицу и попытаться счастья там.

В 1916 году он приехал в Петербург, решив зарабатывать на жизнь писательским трудом. Он обивал пороги различных редакций и издательств, предлагал свои рассказы, но абсолютно безуспешно. Ситуацию осложняло и то, что Бабель проживал в Петербурге на нелегальном положении. В Российской империи существовала черта оседлости для евреев, и без специального разрешения они не могли поселиться в крупных городах. В это же время Исаак Бабель увлекся психологией, психиатрией и юриспруденцией. В 1916 году он поступил на четвертый курс юридического факультета Бехтеревского Петроградского психоневрологического института, который, к сожалению, не окончил.

Отчаявшись, начинающий писатель обратился за помощью к Максиму Горькому. Показал знаменитому писателю несколько своих ранних произведений. Горький, прочитав их, дал совет: идти в люди, набираться жизненных впечатлений, как когда-то сделал он сам. Алексей Максимович в то время был главным редактором журнала «Летопись». Два рассказа молодого писателя были опубликованы в 11 – м номере журнала за 1916 год. Они вызвали огромный интерес читателей и... судебных органов. За рассказы «Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна», «Мама, Римма и Алла» Бабеля собирались привлечь к уголовной ответственности за распространение порнографии. Только Февральская революция спасла его от суда, назначенного на март 1917 года.

Информации о местонахождении Бабеля во время и после Октябрьской революции очень мало.

Из одного его рассказа («Дорога») мы узнаем, что несколько месяцев Исаак служил рядовым на румынском фронте, откуда впоследствии позорно дезертировал. После большевистского переворота Бабель оказался востребован новой властью и устроился на работу в Петроградской ЧК, где работал в Иностранном отделе, пригодившись революции своим знанием иностранных языков. Параллельно занимался журналистикой, будучи корреспондентом меньшевистской газеты Горького «Новая жизнь». Рассказы Исаака Бабеля и его репортажи продолжали публиковаться именно там, пока «Новая жизнь» не была принудительно закрыта по приказу Ленина в июле 1918 года.

Чуть позже он принимал участие в работе продотрядов, то есть в «зондеркомандах», специализирующихся на отъеме хлеба у крестьян; еще позже, в 1920-м, служил в Первой Конной (под чужим именем, с удостоверением на Кирилла Васильевича Лютова, впоследствии он использовал это имя в «Конармии») военкором. Кроме того, писатель с немалым энтузиазмом занимался написанием агитационных статей, наполненных откровенно лживой большевистской пропагандой.

Во время пребывания в Первой Конной Бабель постоянно вел дневник, ставший основой цикла рассказов о Конармии 1923–1926 годов. «Конармия» Бабеля сильно отличалась от красивой легенды, которую сочиняли о буденновцах официальные средства информации. Рассказы принесли автору славу и одновременно и ненависть таких могущественных лиц, как командующий Первой Конной армией Буденный: «Требую защитить от безответственной клеветы тех, кого дегенерат от литературы Бабель оплевывает художественной слюной классовой ненависти». Однако влияние Горького не только защитило Бабеля от ярости прославленного командарма, но и помогло в публикации книги. По мнению многих, именно это заступничество продлило жизнь писателю почти на 10 лет.

В ноябре 1920 года карьера военного корреспондента прервалась – Бабель заболел тифом и вернулся в Одессу, где уже в феврале 1921 года становится редактором журнала «Коммунист» и работает в Госиздате Украины.

К сожалению, жизнь писателя с первой женой Евгенией Гронфайн сложилась неудачно. Супруги расстались из-за измен Бабеля, к тому же Евгения очень часто критиковала написанное мужем. В 1925 году она навсегда уехала в Париж. После ее отъезда Бабель смог открыто сойтись с артисткой театра им. Мейерхольда Татьяной Кашириной. В июле 1926 года у них родился сын, которого назвали Эммануилом. Их роман оказался недолгим. Позже Каширина вышла замуж за Всеволода Иванова, который усыновил Эммануила и дал ему новое имя Михаил. Ивановы сделали все возможное, чтобы оградить Михаила от встреч с настоящим отцом.

В 1920-е гг. Бабель выпустил подавляющее большинство своих произведений и вошел в число виднейших писателей большевистского режима. 1930-е гг. начались для него выходом в свет «Одесских рассказов» – главными героями которых выступили представители уголовного мира Одессы – в том числе налетчик Бенья Крик, прототипом которого стал небезызвестный Мишка Япончик.

В 1932 году, после многочисленных просьб, ему было разрешено посетить жену Евгению в Париже. Имея возможность выезжать на Запад, Бабель почему-то там не остался. В конце 1932 года в Париже он говорил художнику Юрию Анненкову:

«У меня – семья: жена, дочь, я люблю их и должен кормить их. Но я не хочу ни в каком случае, чтобы они вернулись в советчину. Они должны жить здесь на свободе. А я? Остаться тоже здесь и стать шофером такси, как героический Гайто Газданов? Но ведь у него нет детей! Возвращаться в нашу пролетарскую революцию? Революция! Ищи-свищи ее! Пролетариат? Пролетариат пролетел, как дырявая пролетка, поломав колеса! И остался без колес. Теперь, братец, нападают Центральные Комитеты, которые будут почище: им колеса не нужны, у них колеса заменены пулеметами! Все остальное ясно и не требует комментариев, как говорится в хорошем обществе... Здешний таксист гораздо свободнее, чем советский ректор университета... Шофером или нет, но свободным гражданином я стану...» Не стал, вернулся на родину. Возвратился один. А в 1932 году встретил свою третью и последнюю любовь – Антонину Николаевну Пирожкову. Исаак Эммануилович стал ее первым и последним супругом. В 1937 году у них родилась дочь Лида. Антонина Николаевна всю жизнь оставалась верна своему мужу-писателю.

Год от года популярность Бабеля росла. В середине 1920-х он становится одним из наиболее популярных советских писателей. В одном лишь 1925 году вышли отдельным изданием три сборника рассказов. В следующем году вышел первый свод его новелл из «Конармии», который пополнялся в последующие годы. (Задумано было 50 новелл, опубликовано – 37, последняя – «Аргмак».)

В 1925 году приступает к работе над сценарием «Бенья Крик» и пишет пьесу «Закат».

В середине и второй половине 1920-х Бабель создает (по крайней мере, публикует) почти все произведения, которыми он вошел в советскую литературу и остался в ней.

Его часто приглашали на вечера, устраиваемые кремлевскими женами. В ту пору было модно иметь свой литературный салон. По Москве тогда ходили слухи о том, что у Бабеля сложились близкие, даже интимные отношения с женой Ежова, красавицей Евгенией Соломоновой. Бабель часто председательствовал на литературных собраниях «гражданки Ежовой», на которых присутствовали и такие светила советской культуры, как Соломон Михоэлс, Леонид Утесов, Сергей Эйзенштейн и Михаил Кольцов. На одном из таких собраний Бабель произнес сакраментальное: «Подумать только, простая девушка из Одессы стала первой дамой королевства!»

Но 15 мая 1939 года жизнь известного советского писателя резко изменилась...

Хрущев в своих мемуарах вспоминал, что Сталин и Берия в конце 1930-х годов планировали арест жены Ежова. Предупрежденная мужем Евгения Соломоновна покончила с собой в больнице. 11 мая 1939 года комиссар госбезопасности Кобулов допрашивал арестованного Ежова о том, что представлял собой литературный салон его жены. Бывший «железный нарком» рассказывал, что особая дружба связывала его жену с Бабелем, который, как известно, «все время вертелся в подозрительной троцкистской среде и, кроме того, был тесно связан с французскими писателями». И 15 мая 1939 года был арестован и сам Бабель – на даче в Переделкино. Со дня своего ареста Исаак Бабель стал не востребован в Советском Союзе, его имя было уничтожено, изъято из литературных словарей и энциклопедий, вычеркнуто из школьных и университетских учебников. Он стал неприемлемым в любой публике. Когда в следующем году состоялась премьера фильма знаменитого режиссера Марка Донского, имя Бабеля, который работал над сценарием, было убрано с финальных титров. Согласно досье Бабеля, писатель провел на Лубянке и в Бутырской тюрьме в общей сложности восемь месяцев, пока против него фабриковалось уголовное дело за троцкизм, терроризм и даже шпионаж в пользу Австрии и Франции.

Не выдержав пыток, Исаак Эммануилович назвал десятки имен и фамилий, но в архивах НКВД сохранилось заявление писателя, в котором он отрекался от своих слов. Судебный приговор был краток: Бабеля обвинили в заговорщицкой и террористической деятельности и подготовке терактов в отношении руководителей ВКП(б) и советского правительства. В материалах следствия упоминалось имя лорда Бивербрука, с которым писатель будто бы установил контакты с целью реализации своих подрывных заданий. Приговор (расстрел) был приведен в исполнение комендантом НКВД Блохиным 26 января 1940 года в помещении Лефортовской тюрьмы.

В 1954 Бабель полностью реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

Споры вокруг творчества и судьбы Бабель возобновились после его реабилитации и продолжают до наших дней. Но талант его – бесспорен.

Автобиография

Родился в 1894 году в Одессе, на Молдаванке, сын торговца-еврея. По настоянию отца изучал до шестнадцати лет еврейский язык, Библию, Талмуд. Дома жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе. Школа моя называлась Одесское коммерческое имени императора Николая I училище. Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, сановитые поляки, старообрядцы и много великовозрастных бильярдистов. На переменах мы уходили, бывало, в порт на эстакаду, или в греческие кофейни играть на бильярде, или на Молдаванку пить в погребках дешевое бессарабское вино. Школа эта незабываема для меня еще и потому, что учителем французского языка был там м-р Вадон. Он был бретонец и обладал литературным дарованием, как все французы. Он обучил меня своему языку, я затвердил с ним французских классиков, сошелся близко с французской колонией в Одессе и с пятнадцати лет начал писать рассказы на французском языке. Я писал их два года, но потом бросил: пейзажи и всякие авторские размышления выходили у меня бесцветно, только диалог удавался мне.

Потом, после окончания училища, я очутился в Киеве и в 1915 году в Петербурге. В Петербурге мне пришлось ужасно худо, у меня не было правожительства, я избегал полиции и квартировал в погребе на Пушкинской улице у одного растерзанного, пьяного официанта. Тогда в 1915 году я начал разносить мои сочинения по редакциям, но меня отовсюду гнали, все редакторы (покойный Измайлов, Поссе и др.) убеждали меня поступить куда-нибудь в лавку, но я не послушался их и в конце 1916 года попал к Горькому. И вот – я всем обязан этой встрече и до сих пор произношу имя Алексея Максимовича с любовью и благоговением. Он напечатал первые мои рассказы в ноябрьской книжке «Летописи» за 1916 год (я был привлечен за эти рассказы к уголовной ответственности по 1001 ст.), он научил меня необыкновенно важным вещам, и потом, когда выяснилось, что два-три сносных моих юношеских опыта были всего только случайной удачей, и что с литературой у меня ничего не выходит, и что я пишу удивительно плохо, – Алексей Максимович отправил меня в люди.

И я на семь лет – с 1917 по 1924 – ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и проч. И только в 1923 году я научился выражать мои мысли ясно и не очень длинно. Тогда я вновь принялся сочинять.

Начало литературной моей работы я отношу поэтому к началу 1924 года, когда в 4-й книге журнала «Леп» появились мои рассказы «Соль», «Письмо», «Смерть Долгушова», «Король» и др.

Одесские рассказы

Король

Венчание кончилось, раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами – заплаты из оранжевого и красного бархата.

Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабы тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груди разросшегося, сладко воняющего человеческого мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царил восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток торы, крохотная и горбатая.

Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону.

– Слушайте, Король, – сказал молодой человек, – я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой...

– Ну, хорошо, – ответил Беня Крик, по прозвищу Король, – что это за пара слов?

– В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана...

– Я знал об этом позавчера, – ответил Беня Крик. – Дальше.

– Пристав собрал участок и сказал участку речь...

– Новая метла чисто метет, – ответил Беня Крик. – Он хочет облаву. Дальше...

– А когда будет облава, вы знаете, Король?

– Она будет завтра.

– Король, она будет сегодня.

– Кто сказал тебе это, мальчик?

– Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?

– Я знаю тетю Хану. Дальше.

– Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика, – сказал он, – потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву...»

– Дальше.

– Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал: самолюбие мне дороже...

– Ну, иди, – ответил Король.

– Что сказать тете Хане за облаву?

– Скажи: Беня знает за облаву.

И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернуться через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все.

За стол сажались не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез.

За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тещь Короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это не простая история.

Как сделался Бенья Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Бенья написал Эйхбауму письмо.

«Мосье Эйхбаум, – написал он, – положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софийевскую, 17, – двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением Бенья Король».

Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Бенья принял меры. Они пришли ночью – девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Бенья отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Бенья отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот, когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам Короля, – тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил:

– Что с этого будет, Бенья?

– Если у меня не будет денег – у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это дважды два.

– Зайди в помещение, Бенья.

И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам. Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже.

Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкальываемые коровы, и телки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарачались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, – в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума – Циля. И победа Короля стала его поражением.

Через два дня Бенья без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет; он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Циля. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на двадцать.

– Слушайте, Эйхбаум, – сказал ему Король, – когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет двести коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции... И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завешание, не будем об этом говорить громко?... И зять у вас будет Король, не сопляк, а Король, Эйхбаум...

И он добился своего, Бенья Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Бенья вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры Короля.

На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря?

Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как трэфные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш – ничего кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки. Моня Артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда, по обычаю старины, гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы², вскочив на столы, выпевали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья Короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдавское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити.

Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыки, кричали «горько» и бросали невесте цветы, а она, сорокалетняя Двойра, сестра Бени Крика, сестра Короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезавшими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски.

Обряд дарения подходил к концу, шамесы осипли, и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари.

– Бенья, – сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном, – Бенья, ты знаешь, что мне сдается? Мне сдается, что у нас горит сажа...

– Папаша, – ответил Король пьяному отцу, – пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей...

И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Бенья, ничего не замечавший, был безутешен.

– Мне нарушают праздник, – кричал он, полный отчаяния, – дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте...

Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.

– Король, – сказал он, – я имею вам сказать пару слов...

– Ну, говори, – ответил Король, – ты всегда имеешь в запасе пару слов...

² служки в синагоге.

– Король, – произнес неизвестный молодой человек и захихикал, – это прямо смешно, участок горит, как свечка...

Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.

– Маня, вы не на работе, – заметил ей Бенья, – холоднокровной, Маня...

Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех.

– Они вышли с участка человек сорок, – рассказывал он, двигая челюстями, – и пошли на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось... Побежите смотреть, если хотите...

Но Бенья запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, трясая задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундуки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав – та самая метла, что чисто метет, – стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Бенья, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

– Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, – сказал он сочувственно. – Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар...

Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:

– Ай-ай-ай...

А когда Бенья вернулся домой – во дворе потухали уже фонарики и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышью во рту, легонько пробует ее зубами.

Как это делалось в Одессе

Начал я.

– Реб Арье-Лейб, – сказал я старику, – поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромаждают пути моего воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков – разве не выдержит она сравнения с силой Короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Бенья Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях?

Реб Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстиралось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал:

– Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот – забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях – и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать двадцать раз на день. Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он Король, а вы держите фигу в кармане.

Он – Венчик – пошел к Фроиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроиму:

– Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше.

Грач спросил его:

– Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?

– Попробуй меня, Фроим, – ответил Бенья, – и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу.

– Перестанем размазывать кашу, – ответил Грач, – я тебя попробую.

И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете. Но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык.

– Что у него делается под шапкой, у этого Венчика? – спросил покойный Бык.

И одноглазый Грач сказал свое мнение:

– Бенья говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.

– Если так, – воскликнул покойный Левка, – тогда попробуем его на Тартаковском.

– Попробуем его на Тартаковском, – решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налетов». «Полтора жида» называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городского в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А «девятью налетами» прозвали Тартаковского потому, что фирма Левка Бык и компания произвели на его контору не восемь и не десять

налетов, а именно девять. На долю Бени, который не был тогда еще Королем, выпала честь совершить на «полтора жида» десятый налет. Когда Фроим передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол-Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софийской. Он спросил:

– Кого это хоронят с певчими?

Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам. Но «полтора жида» этого не предвидел. «Полтора жида» испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте?

Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Бенья, который еще не был тогда Королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал Грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде:

«Многоуважаемый Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой... и так далее. В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением знакомый вам

Бенцион Крик».

Тартаковский не поленился и ответил без промедления.

«Бенья! Если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту! Но я тебя за такого не знаю, и упаси боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этой году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина?... И скажу тебе, положив руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности, после того как я отработал всю жизнь, как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Бенья. Твой друг, гораздо больше, чем ты это предполагаешь, – Рувим Тартаковский».

«Полтора жида» сделал свое. Он написал письмо. Но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Бенья рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя друзьями в контору Тартаковского. Четыре юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату.

– Руки вверх! – сказали они и стали махать пистолетами.

– Работай спокойнее, Соломон, – заметил Бенья одному из тех, кто кричал громче других, – не имей эту привычку быть нервным на работе, – и, оборотившись к приказчику, белому, как смерть, и желтому, как глина, он спросил его:

– «Полтора жида» в заводе?

– Их нет в заводе, – ответил приказчик, фамилия которого была Мугинштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговли с Серединской площади.

– Кто будет здесь, наконец, за хозяина? – стали допрашивать несчастного Мугинштейна.

– Я здесь буду за хозяина, – сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава.

– Тогда отчини нам, с божьей помощью, кассу! – приказал ему Бенья, и началась опера в трех действиях.

Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы; покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Бенья рассказывал истории из жизни еврейского народа.

– Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, – говорил Бенья о Тартаковском, – так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугинштейн, как другу: вот получает он от меня деловое письмо: отчего бы ему не сесть за пять копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить чем бог послал. Что мешало ему выговорить передо мной душу? «Бенья, – пусть бы он сказал, – так и так, вот тебе мой баланс, повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками». Что бы я ему ответил? Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Мугинштейн, ты меня понял?

– Я вас понял, – сказал Мугинштейн и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем «полтора жида», почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае закусывать с семьей биндюжника Менделя Крика.

А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буциса, но оно было пьяно, как водовоз.

– Го-гу-го, – закричал еврей Савка, – прости меня, Бенчик, я опоздал, – и он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугинштейну в живот.

Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке, – и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живот человека. Нужны ли тут слова?

– Тикать с конторы, – крикнул Бенья и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцису:

– Клянись гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним...

Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить. А он знал. Поэтому он Король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями.

Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Бенья. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов:

– Я имею интерес, – сказал он, – чтобы больной Иосиф Мугинштейн выздоровел. Предлагаюсь на всякий случай – Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату – давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли.

И все же Мугинштейн умер в ту же ночь. И тогда только «полтора жида» поднял крик на всю Одессу.

– Где начинается полиция, – вопил он, – и где кончается Бенья?

– Полиция кончается там, где начинается Бенья, – отвечали резонные люди, но Тартаковский не успокаивался, и он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя.

Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. «Полтора жида» сидел на стуле и махал руками.

– Хулиганская морда, – прокричал он, увидя гостя, – бандит, чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял – убивать живых людей...

– Мосье Тартаковский, – ответил ему Бенья Крик тихим голосом, – вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский, – в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа сто жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость.

Тут Бенья сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты.

– Десять тысяч единовременно, – заревел он, – десять тысяч единовременно и пенсию до ее смерти, пусть она живет сто двадцать лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль...

Потом они бранились друг с другом. «Полтора жиды» бранился с Беней. Я не был при этой ссоре. Но те, кто были, те помнят. Они сошлись на пяти тысячах наличными и пятидесяти рублях ежемесячно.

– Тетя Песя, – сказал тогда Бенья всклоченной старушке, валявшейся на полу, – если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучались, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете пять тысяч на руки и пятьдесят рублей в месяц до вашей смерти, – живите сто двадцать лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду: шесть лошадей, как шесть львов, две колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, сам Миньковский придет отпевать покойного вашего сына...

И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамесов из синагоги, торговцев кошерной птицей или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. Шестидесят певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков евреев, а за приказчиками евреями – присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки старого базара, а с другого бока находились почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было сто человек, или двести, или две тысячи. На них были черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке.

И вот я буду говорить, как говорил господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Мойсейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Арье-Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках.

Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду. Шестидесят певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл «Смейся, паяц» и остановился. Люди молчали как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои стальные плечи, с горящими глазами и выпяченной грудью зашагали вместе с членами общества приказчиков евреев.

Впереди шел Бенья Крик, которого тогда никто еще не называл Королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку.

– Что хотите вы делать, молодой человек? – подбежал к нему Кофман из погребального братства.

– Я хочу сказать речь, – ответил Бенья Крик.

И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арье-Лейб, и шепелявый Мойсейка, который сидел на стене со мною рядом.

– Господа и дамы, – сказал Бенья Крик, – господа и дамы, – сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. – Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас. Господа и дамы! Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса...

И, сказав эту речь, Бенья сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Два могильщика пронесли некрашенный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Бенья бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли, как овцы, все присяжные поверенные и дамы с брошками. Он заставил кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и шестьдесят певчих вторили кантору. Савке не снилась такая панихида – поверьте слову Арье-Лейба, старого старика.

Говорят, что в тот день «полтора жида» решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны, – это видел я глазами Арье-Лейба. Арье-Лейб – так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась.

– Король, – глядя ей вслед, сказал шепелявый Мойсейка, тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке.

Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это был Мойсейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого Грача, ни бешеного Кольку. Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?..

Отец

Фроим Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло двадцать лет. Жена родила тогда Фроиму дочку и умерла от родов. Девочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя. Она говорила о нем: Фроим по занятию ломовой извозчик, и у него есть вороные лошади, но душа Фроима чернее, чем вороная масть его лошадей...

Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой двадцать лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так.

В среду, пятого числа, Фроим Грач возил в порт на пароход «Каледония» пшеницу из складов общества Дрейфус. К вечеру он кончил работу и поехал домой. Ета повороте с Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Пятирубель.

– Почтение, Грач, – сказал Иван Пятирубель, – какая-то женщина колотится до твоего помещения...

Грач проехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета.

– Папаша, – сказала женщина оглушительным басом, – меня уже черти хватают со скуки. Я жду вас целый день... Знайте, что бабушка умерла в Тульчине.

Грач стоял на биндюге и смотрел на дочь во все глаза.

– Не крутись перед конями, – закричал он в отчаянии, – бери уздечку у коренника, ты мне коней побить хочешь...

Грач стоял на возу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать сразу в чугунном котелке.

– У вас невыносимый грязь, папаша, – сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу, – но я выведу этот грязь, – прокричала Баська и подала отцу ужинать.

Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел сразу, пахнущую как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она одела мужские штиблеты и оранжевое платье, она одела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, завероченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, в каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шафера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии – они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молдаванки.

Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня Артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо нее, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь, они пошептались между собой и стали двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если б она этого захотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из своекорыстного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов и еще несколько фунтов, всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, странствующих книгонош, лесных под-

рядчиков и никогда не видела таких людей, как Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу.

– Папаша, – сказала она громовым голосом, – посмотрите на этого господинчика: у него ножки, как у куколки, я задушила бы такие ножки...

– Эге, пани Грач, – прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом, старый еврей, по фамилии Голубчик, – я вижу, дите ваше просится на травку...

– Вот морока на мою голову, – ответил Фроим Голубчику, поиграл кнутом и пошел к себе спать и заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику и оказался кругом неправ. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице, по ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроим Грач был неправ. Прав был Голубчик.

И действительно, с этого дня Баська все свои вечера проводила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом; груди холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям; беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком весны, и в это время мужа их, один за другим, приходили с работы. Мужья бранчливых жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь Молдавнки, щедрой нашей матери, – жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнувшим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неутомимости. Девушка захотела и себе такой же жизни, но она узнала тут, что дочь одноглазого Грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом.

– Рыжий вор, – кричала она ему по вечерам, – рыжий вор, идите вечерять...

И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе шесть ночных рубашек и шесть пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, непохожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому Грачу:

– Каждая девушка, – сказала она ему, – имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я делаю конец моей жизни...

Грач выслушал до конца свою дочь, он одел парусовую бурку и на следующий день отправился в гости к бакалейщику Каплуну на Привозную площадь.

Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой; на стойке этой были поставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонская малага, сардины фирмы «Филипп и Кано» и кайенский перец. Сам Каплун сидел в жилетке на солнце-пеке, в стеклянной пристроечке, и ел арбуз – красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китайок. Живот Каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать. Но потом бакалейщик увидел Грача в парусовой бурке и побледнел.

– Добрый день, мосье Грач, – сказал он и отодвинулся. – Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это – редкость...

И он заговорил о новом сорте чая, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек, без хитростей.

– Я простой человек, без хитростей, – сказал Фроим, – я нахожусь при моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей, и я сам есть за Баськой, – кому этого мало, пусть тот горит огнем...

– Зачем нам гореть? – ответил Каплун скороговоркой и погладил руку ломового извозчика. – Не надо такие слова, мосье Грач, ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку, и, между прочим, вы можете обидеть другого человека, а то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре³, но... но мадам Каплун... есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у которой сам бог не узнает, чего она хочет...

– А я знаю, – прервал лавочника Грач, – я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня...

– Да, я не хочу вас, – прокричала тогда мадам Каплун, подслушивавшая у дверей, и она взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, с волнующейся грудью, – я не хочу вас, Грач, как человек не хочет смерти; я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, и мы должны держаться нашей бранжи⁴...

– Держитесь вашей бранжи, – ответил Грач пылающей мадам Каплун и ушел к себе домой.

Там ждала его Баська, раздетая в оранжевое платье, но старик, не посмотрев на нее, разостлал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Васькина рука не выбросила его из-под телеги.

– Рыжий вор, – сказала девушка шепотом, непохожим на ее шепот, – отчего должна я переносить биндюж-ницкие ваши манеры, и отчего вы молчите, как пень, рыжий вор?..

– Баська, – произнес Грач, – Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня... Там ищут бакалейщика.

И, поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исчезла со двора...

Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на Грача, храпевшего под своим биндюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и блестящую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими муллами. Они возвращались с богомолья из Мекки к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоянный двор Любки Шнейвейс, прозванной Любкой Казак. Полосатые нестигаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс, с кошельком на боку, била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха, он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека, потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за ней ворота и помахал рукой Фроиму Грачу, проходившему мимо...

– Почтение, Грач, – сказал он, – если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть с чего посмеяться...

И сторож повел Грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый турок в зеленой чалме, старый турок, зеленый и легкий, как лист, лежал на траве. Он был покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами.

– Вот, – сказал Евзель и поправил медаль на истертом своем пиджаке, – вот вам жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать

³ Сэр Мозес Хаим Монтефиоре (1784–1885) – британский финансист, общественный деятель, филантроп. Крупное состояние и широкую известность он приобрел созданием первого в Англии общества по страхованию жизни (при поддержке Натана Ротшильда) и основанием первой в Европе компании по освещению улиц газовыми фонарями.

⁴ Бранжа (угол.) – дело.

доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от бога Мухамеда к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач... Халваш, – закричал Евзель умирающему и захохотал, – вот идет доктор лечить тебя...

Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел Грача на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья – старший Беня и младший Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал шупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это.

– Старый хвостун, – пробормотал он о Менделе и заказал себе вина.

Потом Фроим подозвал к себе хозяйку Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя.

– Говори, – крикнула она Фроиму и в бешенстве скосила глаза.

– Мадам Любка, – ответил ей Фроим и усадил рядом с собой, – вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка, – сначала на бога, потом на вас.

– Говори, – закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась на свое место.

И Грач сказал:

– В колониях, – сказал он, – немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин покупают в Константинополе за три рубля, а продают их здесь по тридцать копеек за фунт... Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка, бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым... Но я остался один в моей работе, покойник Лева Бык умер, мне нет помощи ниоткуда, и вот я один, как бывает один бог на небе.

– Беня Крик, – сказала тогда Любка, – ты пробовал его на Тартаковском, чем плох тебе Беня Крик?

– Беня Крик? – повторил Грач, полный удивления. – И он холостой, мне сдается?

– Он холостой, – сказала Любка, – окрути его с Баськой, дай ему денег, выведи его в люди...

– Беня Крик, – повторил старик, как эхо, как дальнее эхо, – я не подумал о нем...

Он встал, бормоча и заикаясь, Любка побежала вперед, и Фроим поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих.

– Наш жених у Катюши, – сказала Любка Грачу, – подожди меня в коридоре, – и она прошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с женщиной по имени Катюша.

– Довольно слюни пускать, – сказала хозяйка молодому человеку, – сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу, Бенчик, и потом можно слюни пускать... Фроим Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его...

И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Грача.

– Я подумаю, – ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги, – я подумаю, пусть старик обождет меня.

– Обожди его, – сказала Любка Фроиму, оставшемуся в коридоре, – обожди его, он подумает...

Хозяйка придвинула стул Фроиму, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик

продремал два часа и, может быть, больше. Вечер давно уже стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель, и старый мулла в зеленой чалме умер к полуночи. Потом музыка пришла с моря, валторны и трубы с английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла, но Катюша, обстоятельная Катюша все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом; старый Фроим сидел, не двигаясь, у ее дверей, он ждал до часу ночи и потом постучал.

– Человек, – сказал он, – неужели ты смеешься надо мной?

Тогда Бенья открыл наконец двери Катюшиной комнаты.

– Мосье Грач, – сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней, – когда мы молодые, так мы думаем на женщин, что это товар, но это же всего только солома, которая горит ни от чего...

И, одевшись, он поправил Катюшину постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища, и там, у кладбища, сошлись интересы Бени Крика и кривого Грача, старого налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три тысячи рублей приданого, две кровных лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две тысячи рублей Бене, Васькиному жениху. Он был повинен в семейной гордости – Каплун с Привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Васькиной любви, и поэтому Бенья Крик решил взять на себя задачу получения с Каплуна двух тысяч рублей.

– Я возьму это на себя, папаша, – сказал он будущему своему тестю, – бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков...

Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже, – и вот тут начинается новая история, история падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и ночной стрельбе. И все это – судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баськи – решилась в ту ночь, когда ее отец и внезапный ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах.

Любка Казак

На Молдаванке, на углу Дальницкой и Балковской улиц, стоит дом Любки Шнейвейс. В ее доме помещается винный погреб, постоянный двор, овсяная лавка и голубятня на сто пар крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и участок номер сорок шесть на одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейвейс, прозванной Любкой Казак, и только голубятня составляет собственность сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеньям Евзель выходит на Охотницкую и продает голубей чиновникам из города и соседским мальчишкам. Кроме сторожа на Любкином дворе живет еще Песя-Миндл, кухарка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и бороденкой на молдаванского раввина нашего – Бен Зхарью. О Цудечкисе я знаю много историй. Первая из них – история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоянный двор Любки, прозванной Казак.

Лет десять тому назад Цудечкис смаклеровал одному помещику молотилку с конным приводом и вечером повел помещика к Любке для того, чтобы отпраздновать покупку. Покупщик его носил возле усов подусники и ходил в лаковых сапогах. Песя-Миндл дала ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню, по имени Настя. Помещик переночевал, и наутро Евзель разбудил Цудечкиса, свернувшегося калачиком у порога Любкиной комнаты.

– Вот, – сказал Евзель, – вы хвалились вчера вечером, что помещик купил через вас молотилку, так будьте известны, что, переночевав, он убежал на рассвете, как самый последний. Теперь вынимайте два рубля за закуску и четыре рубля за барышню. Видно, вы тертый старик.

Но Цудечкис не отдал денег. Евзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер на ключ.

– Вот, – сказал сторож, – ты будешь здесь, а потом приедет Любка с каменоломни и с божьей помощью выймет из тебя душу. Аминь.

– Каторжанин, – ответил солдату Цудечкис и стал осматриваться в новой комнате, – ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей, а я верю еще в бога, который выведет меня отсюда, как вывел всех евреев – сначала из Египта и потом из пустыни...

Маленький маклер много еще хотел высказать Евзелю, но солдат взял с собой ключ и ушел, громыхая сапогами. Тогда Цудечкис обернулся и увидел у окна сводницу Песю-Миндл, которая читала книгу «Чудеса и сердце Баал-Шема»⁵. Она читала хасидскую книгу с золотым обрезаем и качала ногой дубовую люльку. В люльке этой лежал Любкин сын, Давидка, и плакал.

– Я вижу хорошие порядки на этом Сахалине, – сказал Цудечкис Песе-Миндл, – вот лежит ребенок и разрывается на части, что это жалко смотреть, и вы, толстая женщина, сидите, как камень в лесу, и не можете дать ему соску...

– Дайте вы ему соску, – ответила Песя-Миндл, не отрываясь от книжки, – если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что он уже большой, как цацап, и хочет только мамашенькиного молока, и мамашенька его скачет по своим каменоломням, пьет чай с евреями в трактире «Медведь», покупает в гавани контрабанду и думает о своем сыне, как о прошлогоднем снеге...

– Да, – сказал тогда самому себе маленький маклер, – ты у фараона в руках, Цудечкис, – и он отошел к восточной стене, пробормотал всю утреннюю молитву с прибавлениями и взял потом на руки плачущего младенца. Давидка посмотрел на него с недоумением и помахал малиновыми ножками в младенческом поту а старик стал ходить по комнате и, раскачиваясь, как цадик на молитве, запел нескончаемую песню.

⁵ В иудаизме словосочетание Баал-Шем Тоб означает буквально «добрый чудотворец» или «обладающий добрым именем».

– А-а-а, – запел он, – вот всем детям дули, а Давидочке нашему калачи, чтобы он спал и днем и в ночи... А-а-а, вот всем детям кулаки...

Цудечкис показал Любкиному сыну кулачок с серыми волосами и стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха, обессиленная зноем. Дикие мужики из Нерубайска и Татарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, полезли под телеги и заснули там диким залившимся сном, пьяный мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю, свалился и захрапел посредине мира, весь в золотых мухах и голубых молниях июля. Неподалеку от него, в холодке, уселись морщинистые немцы-колонисты, привезшие Любке вино с бессарабской границы. Они закурили трубки, и дым от их изогнутых чубуков стал путаться в серебряной щетине небритых и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки, исполинское море накатывалось вдали на Пересыпь, и мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воде Одесского залива. День сидел в разукрашенной ладье, день подплывал к вечеру, и навстречу вечеру, только в пятом часу вернулась из города Любка. Она приехала на чалой лошаденке с большим животом и с отросшей гривой. Парень с толстыми ногами и в ситцевой рубахе открыл ей ворота, Евзель поддержал узду ее лошади, и тогда Цудечкис крикнул Любке из своего заточения:

– Почтение вам, мадам Шнейвейс, и добрый день. Вот вы уехали на три года по делам и набросили мне на руки голодного ребенка...

– Цыть, мурло, – ответила Любка старику и слезла с седла, – кто это разевает там рот в моем окне?

– Это Цудечкис, тертый старик, – ответил хозяйке солдат с медалью и стал рассказывать ей всю историю с помещиком, но он не досказал до конца, потому что маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил.

– Какая нахальства, – завизжал он и швырнул вниз ермолку, – какая нахальства набросить на руки чужого ребенка и самой пропасть на три года... Идите дайте ему цицю...

– Вот я иду к тебе, аферист, – пробормотала Любка и побежала к лестнице. Она вошла в комнату и вынула грудь из запыленной кофты.

Мальчик потянулся к ней, искусал чудовищный ее сосок, но не добыл молока. У матери надулась жила на лбу, и Цудечкис сказал ей, тряся ермолкой:

– Вы все хотите захватить себе, жадная Любка; весь мир тащите вы к себе, как дети тащат скатерть с хлебными крошками; первую пшеницу хотите вы и первый виноград; белые хлебы хотите вы печь на солнечном припеке, а маленькое дите ваше, такое дите, как звездочка, должно захлянуть без молока...

– Какое там молоко, – закричала женщина и надавила грудь, – когда сегодня прибыл в гавань «Плутарх» и я сделала пятнадцать верст по жаре?.. А вы, вы запели длинную песню, старый еврей, – отдайте лучше шесть рублей...

Но Цудечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный локоть.

– Давись, арестантка, – сказал он и плюнул в угол.

Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла во двор. Там уже дожидался ее мистер Троттибэрн, похожий на колонну из рыжего мяса. Мистер Троттибэрн был старшим механиком на «Плутархе». Он привез с собой к Любке двух матросов. Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все втроем они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Саида. Их ящик был тяжел, они уронили его на землю, и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбежалось к ящику, и две пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали заходить сбоку

– Прочь, галета! – крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию. Они сели там за стол, Евзель подал им вина, и мистер Троттибэрн развернул свои товары. Он вынул из тюка

сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники, необандероленный табак из штата Виргиния и черное вино, купленное на острове Хиосе. Всякому товару была особая цена, каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнувшим солнцем и клопами. Сумерки побежали по двору, сумерки побежали, как вечерняя волна на широкой реке, и пьяный малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди.

Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице; он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком.

– Смотрите, какой хорошо грамотный, – сказала о нем Любка мистериу Троттибэрну, – последнее молоко пропадет у меня от этого малайца, а вот тот еврей съел уже меня за это молоко...

И она указала на Цудечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комнате у Цудечкиса, лоханка его пенилась и шипела, он высунулся из окна, почувствовав, что говорят о нем, и закричал с отчаянием.

– Ратуйте, люди! – закричал он и помахал руками.

– Цыть, мурло! – захохотала Любка. – Цыть.

Она бросила в старика камнем, но не попала с первого раза. Женщина схватила тогда пустую бутылку из-под вина. Но мистер Троттибэрн, старший механик, взял у нее бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно.

– Мисс Любка, – сказал старший механик, вставая, и он собрал к себе пьяные ноги, – много достойных людей приходят ко мне, мисс Любка, за товаром, но я никому не даю его, ни мистериу Куниinsonу, ни мистериу Батю, ни мистериу Купчику, никому, кроме вас, потому что разговор ваш мне приятен, мисс Любка...

И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного англичанина, другого малайца, и пошел танцевать с ними по заолодевшему двору Люди с «Плутарха» – они танцевали в глубокомысленном молчании. Оранжевая звезда, скатившись к самому краю горизонта, смотрела на них во все глаза. Потом они получили деньги, взяли за руки и вышли на улицу, качаясь, как качается висючая лампа на корабле. С улицы им видно было море, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги на потонувших мачтах и пронызывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка проводила танцующих гостей до переезда; она осталась одна на пустой улице, засмеялась своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубашке запер за нею ворота, Евзель принес хозяйке дневную выручку, и она отправилась спать к себе наверх. Там дремала уже Песя-Миндл, сводница, и Цудечкис качал босыми ножками дубовую люльку.

– Как вы замучили нас, бессовестная Любка, – сказал он и взял ребенка из люльки, – но вот учитесь у меня, паскудная мать...

Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына ей в кровать. Ребенок потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подsunул ему соску, но Давидка отвернулся от соски.

– Что вы колдуете надо мной, старый плут? – пробормотала Любка засыпая.

– Молчать, паскудная мать! – ответил ей Цудечкис. – Молчать и учитесь, чтоб вы пропали...

Дитя опять укололось о гребень, оно нерешительно взяло соску и стало сосать ее.

– Вот, – сказал Цудечкис и засмеялся, – я отлучил вашего ребенка, учитесь у меня, чтоб вы пропали...

Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок.

– Ну, хорошо, – сказала тогда Любка, – открой Цудечкису дверь, Песя-Миндл, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку...

И на следующий день Цудечкис пришел за фунтом необандероленного табаку из штата Виргиния. Он получил его и еще четвертку чаю в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. Он был крохотный, как раввин наш Бен Зхарья. Цудечкис был новым управляющим.

Он пробыл в своей новой должности пятнадцать лет, и за это время я узнал о нем множество историй. И, если сумею, я расскажу их по порядку, потому что это очень интересные истории.

Справедливость в скобках

Первое дело я имел с Бенеи Криком, второе – с Любкой Шнейвейс. Можете вы понять такие слова? Во вкус этих слов можете вы войти? На этом пути смерти недоставало Сережки Уточкина⁶. Я не встретил его на этот раз, и поэтому я жив. Как медный памятник стоит он над городом, он – Уточкин, рыжий и сероглазый. Все люди должны будут пробежать между его медных ног.

... Не надо уводить рассказ в боковые улицы. Не надо этого делать даже и в том случае, когда на боковых улицах цветет акация и поспевают каштан. Сначала о Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И все скажут: точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.

... Я стал маклером. Сделавшись одесским маклером – я покрылся зеленью и пустил побег. Обремененный побегами – я почувствовал себя несчастным. В чем причина? Причина в конкуренции. Иначе я бы на эту справедливость даже не высморкался. В моих руках не спрятаемо ремесла. Передо мной стоит воздух. Он блестит, как море под солнцем, красивый и пустой воздух. Побег хотят кушать. У меня их семь, и моя жена восьмой побег. Я не высморкался на справедливость. Нет. Справедливость высморкалась на меня. В чем причина? Причина в конкуренции.

Кооператив назывался «Справедливость». Ничего худого о нем сказать нельзя. Грех возьмет на себя тот, кто станет говорить о нем дурно. Его держали шесть компаньонов, «*primo de primo*»⁷, к тому же специалисты по своей бранже. Лавка у них была полна товару, а постовым милиционером поставили туда Мотю с Головковской. Чего еще надо? Больше, кажется, ничего не надо. Это дело предложил мне бухгалтер из «Справедливости». Честное дело, верное дело, спокойное дело. Я почистил мое тело платяной щеткой и переслал его Бене. Король сделал вид, что не заметил моего тела. Тогда я кашлянул и сказал:

– Так и так, Бенья.

Король закусывал. Графинчик с водочкой, жирная сигара, жена с животиком, седьмой месяц или восьмой, верно не скажу. Вокруг террасы – природа и дикий виноград.

– Так и так, Бенья, – говорю я.

– Когда? – спрашивает он меня.

– Коль раз вы меня спрашиваете, – отвечаю я королю, – так я должен высказать свое мнение. По-моему, лучше всего с субботы на воскресенье. На посту, между прочим, стоит не кто иной, как Мотя с Головковской. Можно и в будний день, но зачем, чтобы из спокойного дела вышло беспокойное?

Такое у меня было мнение. И жена короля с ним согласилась.

– Детка, – сказал ей тогда Бенья, – я хочу, чтобы ты пошла отдохнуть на кушетке.

Потом он медленными пальцами сорвал золотой ободок с сигары и обернулся к Фроиму Штерну:

– Скажи мне, Грач, мы заняты в субботу, или мы не заняты в субботу?

Но Фроим Штерн человек себе на уме. Он рыжий человек с одним только глазом на голове. Ответить с открытой душой Фроим Штерн не может.

– В субботу, – говорит он, – вы обещали зайти в общество взаимного кредита...

⁶ Сергей Исаевич Уточкин (1876–1916) – один из первых русских авиаторов и летчиков-испытателей; многосторонний и талантливый спортсмен – фехтовальщик, пловец, яхтсмен, боксер, футболист, вело-, мото- и автогонщик начала XX века, владелец одного из первых автомобилей в Одессе.

⁷ первые из первых (*лат.*).

Грач делает вид, что ему больше нечего сказать, и он беспечно втыкает свой единственный глаз в самый дальний угол террасы.

– Отлично, – подхватывает Беня Крик, – напомнишь мне в субботу за Цудечкиса, запиши это себе, Грач. Идите к своему семейству, Цудечкис, – обращается ко мне король, – в субботу вечером, по всей вероятности, я зайду в «Справедливость». Возьмите с собой мои слова, Цудечкис, и начинайте идти.

Король говорит мало, и он говорит вежливо. Это пугает людей так сильно, что они никогда его не переспрашивают. Я пошел со двора, пустился идти по Госпитальной, завернул на Стеновую, потом остановился, чтобы рассмотреть Бенины слова. Я попробовал их на ощупь и на вес, я подержал их между моими передними зубами и увидел, что это совсем не те слова, которые мне нужны.

– По всей вероятности, – сказал король, снимая медленными пальцами золотой ободок с сигары.

Король говорит мало, и он говорит вежливо. Кто вникает в смысл немногих слов короля? По всей вероятности, зайду, или, по всей вероятности, не зайду? Между да и нет лежат пять тысяч комиссионных. Не считая двух коров, которых я держу для своей надобности, у меня девять ртов, готовых есть. Кто дал мне право рисковать? После того, как бухгалтер из «Справедливости» был у меня, не пошел ли он к Бунцельману? И Бунцельман, в свою очередь, не побежал ли он к Коле Штифту, а Коля парень горячий до невозможности. Слова короля каменной глыбой легли на том пути, по которому рыскал голод, умноженный на девять голов. Говоря проще, я предупредил Бунцельмана на полголоса. Он входил к Коле в ту минуту, когда я выходил от Коли. Было жарко, и он вспотел. «Удержитесь, Бунцельман, – сказал я ему, – вы торопитесь напрасно, и вы потеете напрасно. Здесь я кушаю. Und damit Punktum⁸, как говорят немцы».

И был день пятый. И был день шестой. Суббота прошла по молдавanskим улицам. Мотя уже стал на посту, я уже спал на моей постели, Коля трудился в «Справедливости». Он нагрузил полбиндюга, и его цель была нагрузить еще полбиндюга. В это время в переулке послышался шум, загрохотали колеса, обитые железом; Мотя с Головковской взялся за телеграфный столб и спросил: «Пусть он упадет?» Коля ответил: «Еще не время». (Дело в том, что этот столб в случае нужды мог упасть.)

Телега шагом въехала в переулок и приблизилась к лавке. Коля понял, что это приехала милиция, и у него стало разрываться сердце на части, потому что ему было жалко бросать свою работу.

– Мотя, – сказал он, – когда я выстрелю, столб упадет.

– Безусловно, – ответил Мотя.

Штифт вернулся в лавку, и все его помощники пошли с ним. Они стали вдоль стены и вытащили револьверы. Десять глаз и пять револьверов были устремлены на дверь, все это не считая подпиленного столба. Молодежь была полна нетерпения.

– Тикай, милиция, – прошептал кто-то невоздержанный, – тикай, бо задавим...

– Молчать, – произнес Беня Крик, прыгая с антресолей. – Где ты видишь милицию, мурло? Король идет.

Еще немного, и произошло бы несчастье. Беня сбил Штифта с ног и выхватил у него револьвер. С антресолей начали падать люди, как дождь. В темноте ничего нельзя было разобрать.

– Ну вот, – прокричал тогда Колька, – Беня хочет меня убить, это довольно интересно...

В первый раз в жизни короля приняли за пристава. Это было достойно смеха. Налетчики хохотали во все горло. Они зажгли свои фонарики, они надрывали свои животики, они катались по полу, задушенные смехом.

⁸ И с этим покончено (нем.).

Один король не смеялся.

– В Одессе скажут, – начал он дельным голосом, – в Одессе скажут: король польстился на заработок своего товарища.

– Это скажут один раз, – ответил ему Штифт. – Никто не скажет ему этого два раза.

– Коля, – торжественно и тихим голосом продолжал король, – веришь ли ты мне, Коля?

И тут налетчики перестали смеяться. У каждого из них горел в руке фонарик, но смех выполз из кооператива «Справедливость».

– В чем я должен тебе верить, король?

– Веришь ли ты мне, Коля, что я здесь ни при чем?

И он сел на стул, этот присмиривший король, он закрыл пыльным рукавом глаза и заплакал. Такова была гордость этого человека, чтоб ему гореть огнем. И все налетчики, все до единого видели, как плачет от оскорбленной гордости их король.

Потом они стали друг перед другом. Беня стоял, и Штифт стоял. Они начали здороваться за руку, они извинялись, они целовали друг друга в губы, и каждый из них тряс руку своего товарища с такой силой, как будто он хотел ее оторвать. Уже рассвет начал хлопать своими подслеповатыми глазами, уже Мотя ушел в участок сменяться, уже два полных биндюга увезли то, что когда-то называлось кооперативом «Справедливость», а король и Коля все еще горевали, все еще кланялись и, закинув друг другу руки за шею, целовались нежно, как пьяные.

Кого искала судьба в это утро? Она искала меня, Цудечкиса, и она меня нашла.

– Коля, – спросил наконец король, – кто тебе указал на «Справедливость»?

– Цудечкис. А тебе, Беня, кто указал?

– И мне Цудечкис.

– Беня, – восклицает тогда Коля, – неужели же он останется у нас живой?

– Безусловно, что нет, – обращается Беня к одноглазому Штерну, который стоит в сторонке и хихикает, потому что он со мной в контрах, – закажешь, Фроим, газетовый гроб, а я иду до Цудечкиса. Ты же, Коля, раз ты кое-что начал, то ты обязан это кончить, и очень прошу тебя от моего имени и от имени моей супруги зайти ко мне утром и закусить в кругу моей семьи.

Часов в пять утра, или нет, часа в четыре утра, а еще, может быть, и четырех не было, король зашел в мою спальню, взял меня, извините, за спину, снял с кровати, положил на пол и поставил свою ногу на мой нос. Услышав разные звуки и тому подобное, моя супруга спрыгнула и спросила Беню:

– Мосье Крик, за что вы обижаетесь на моего Цудечкиса?

– Как за что, – ответил Беня, не снимая ноги с моей переносицы, и слезы закапали у него из глаз, – он бросил тень на мое имя, он опозорил меня перед товарищами, можете проститься с ним, мадам Цудечкис, потому что моя честь дороже мне счастья и он не может оставаться живой...

Продолжая плакать, он топтал меня ногами. Моя супруга, видя, что я сильно волнуюсь, закричала. Это случилось в половине пятого, кончила она к восьми часам. Но она же ему задала, ох, как она ему задала! Это была роскошь!

– За что сердать на моего Цудечкиса, – кричала она, стоя на кровати, и я, корчась на полу, смотрел на нее с восхищением, – за что бить моего Цудечкиса? За то ли, что он хотел накормить девять голодных птенчиков? Вы, такой-сякой, вы – Король, вы зять богача и сами богач, и ваш отец богач. Вы человек, перед которым открыто все и вся, что значит для Венчика одно неудачное дело, когда следующая неделя принесет вам семь удачных? Не смей бить моего Цудечкиса! Не смей!

Она спасла мне жизнь.

Когда проснулись дети, они начали кричать совместно с моей супругой. Беня все-таки испортил мне столько здоровья, сколько он понимал, что мне нужно испортить. Он оставил

двести рублей на лечение и ушел. Меня отвезли в Еврейскую больницу. В воскресенье я умирал, в понедельник я поправлялся, а во вторник у меня был кризис.

Вот моя первая история. Кто виноват, и где причина? Неужели Беня виноват? Нечего нам друг другу глаза замазывать. Другого такого, как Беня Король, – нет. Истребляя ложь, он ищет справедливость, и ту справедливость, которая в скобках и которая без скобок. Но ведь все другие невозмутимы, как холодец, они не любят искать, они не будут искать, и это хуже.

Я выздоровел. И это для того, чтобы из Бениных рук перелететь в Любкины. Сначала я о Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И всякий скажет: точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.

Конец богадельни

В пору голода не было в Одессе людей, которым жилось бы лучше, чем богадельщикам на втором еврейском кладбище. Купец суконным товаром Кофман когда-то воздвиг в память жены своей Изабеллы богадельню рядом с кладбищенской стеной. Над этим соседством много потешались в кафе Фанкони. Но прав оказался Кофман. После революции призреваемые на кладбище старики и старухи захватили должности могильщиков, канторов, обмывальщиц. Они завели себе дубовый гроб с покрывалом и серебряными кистями и давали его напрокат бедным людям.

Тес в то время исчез из Одессы. Наемный гроб не стоял без дела. В дубовом ящике покойник отстаивался у себя дома и на панихиде; в могилу же его сваливали облаченным в саван. Таков забытый еврейский закон.

Мудрецы учили, что не следует мешать червям соединиться с падалью, она нечиста. «Из земли ты произошел и в землю обратишься».

Оттого, что старый закон возродился, старики получали к своему пайку приварок, который никому в те годы не снился. По вечерам они пьянствовали в погребке Залмана Криворучки и подавали соседям объедки.

Благополучие их не нарушалось до тех пор, пока не случилось восстание в немецких колониях. Немцы убили в бою коменданта гарнизона Герша Лугового.

Его хоронили с почестями. Войска прибыли на кладбище с оркестрами, походными кухнями и пулеметами на тачанках. У раскрытой могилы были произнесены речи и даны клятвы.

– Товарищ Герш, – кричал, напрягаясь, Ленька Бройтман, начальник дивизии, – вступил в РСДРП большевиков в 1911 году, где проводил работу пропагандиста и агента связи. Репрессиям товарищ Герш начал подвергаться вместе с Соней Яновской, Иваном Соколовым и Моносоном в 1913 году в городе Николаеве...

Арье-Лейб, староста богадельни, держался со своими товарищами наготове. Ленька не успел кончить прощальное слово, как старики начали поворачивать гроб на сторону, чтобы вывалить мертвеца, прикрытого знаменем. Ленька незаметно толкнул Арье-Лейба шпорой.

– Отскочь, – сказал он, – отскочь отсюда... Герш заслужил у Республики...

На глазах оцепеневших стариков Луговой был зарыт вместе с дубовым ящиком, кистями и черным покрывалом, на котором серебром были вытканы щиты Давида и стих из древнееврейской заупокойной молитвы.

– Мы мертвые люди, – сказал Арье-Лейб своим товарищам после похорон, – мы у фараона в руках...

И он бросился к заведующему кладбищем Бройдину с просьбой о выдаче досок для нового гроба и сукна для покрывала. Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В его планы не входило обогащение стариков. Он сказал в конторе:

– Мне больше сердце болит за безработных коммунальников, чем за этих спекулянтов...

Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В погребке Залмана Криворучки на его голову и на головы членов союза коммунальников сыпались талмудические проклятия. Старики заклинали мозг в костях Бройдина и членов союза, свежее семя в утробе их жен и пожелали каждому из них особый вид паралича и язвы.

Доход их уменьшился. Паек состоял теперь из синей похлебки с рыбьими костями. На второе подавалась ячневая каша, ничем не подмасленная.

Старик из Одессы может есть всякую похлебку из чего бы она ни была сварена, если только в нее положены лавровый лист, чеснок и перец. Тут ничего этого не было.

Богадельня имени Изабеллы Кофман разделила общую участь. Ярость изголодавшихся стариков возрастала. Она обрушилась на голову человека, который меньше всего ждал этого.

Этим человеком оказалась докторша Юдифь Шмайсер, пришедшая в богадельню прививать оспу.

Губисполком издал распоряжение об обязательном оспопрививании. Юдифь Шмайсер разложила на столе свои инструменты и зажгла спиртовку. Перед окнами стояли изумрудные стены кладбищенских кустов. Голубой язычок пламени мешался с июньскими молниями.

Ближе всего к Юдифи стоял Меер Бесконечный, тощий старик. Он угрюмо следил за ее приготовлениями.

– Разрешите вас уколоть, – сказала Юдифь и взмахнула пинцетом. Она стала вытягивать из тряпья голубую плоть его руки.

Старик отдернул руку:

– Меня не во что колоть...

– Больно не будет, – вскричала Юдифь, – в мякоть не больно...

– У меня нет мякоти, – сказал Меер Бесконечный, – меня не во что колоть...

Из угла комнаты ему ответили глухим рыданием. Это рыдала Доба-Лея, бывшая повариха на обрезаниях. Меер искривил истлевшие щеки.

– Жизнь – смитье, – пробормотал он, – свет – бордель, люди – аферисты...

Пенсне на носике Юдифи закачалось, грудь ее вышла из накрахмаленного халата. Она открыла рот для того, чтобы объяснить пользу оспопрививания, но ее остановил Арье-Лейб, староста богадельни.

– Барышня, – сказал он, – нас родила мама так же, как и вас. Эта женщина, наша мама, родила нас для того, чтобы мы жили, а не мучались. Она хотела, чтобы мы жили хорошо, и она была права, как может быть права мать. Человек, которому хватает того, что Бройдин ему отпускает, – этот человек недостойн материала, который пошел на него. Ваша цель, барышня, состоит в том, чтобы прививать оспу, и вы, с божьей помощью, прививаете ее. Наша цель состоит в том, чтобы дожить нашу жизнь, а не домучить ее, и мы не исполняем этой цели.

Доба-Лея, усатая старуха с львиным лицом, зарыдала еще громче, услышав эти слова. Она зарыдала басом.

– Жизнь – смитье, – повторил Меер Бесконечный, – люди – аферисты...

Парализованный Симон-Вольф схватился за руль своей тележки и, визжа и выворачивая ладони, двинулся к двери. Ермолка сдвинулась с малиновой, раздутой его головы.

Вслед за Симоном-Вольфом на главную аллею, рыча и гримасничая, вывалились все тридцать стариков и старух. Они потрясали костылями и ревели, как голодные ослы.

Сторож, увидев их, захлопнул кладбищенские ворота. Могильщики подняли вверх лопаты с налипшей на них землей и корнями трав и остановились в изумлении.

На шум вышел бородатый Бройдин, в крагах и кепи велосипедиста и в кургузом пиджачке.

– Аферист, – закричал ему Симон-Вольф, – нас не во что колоть... У нас на руках нет мяса...

Доба-Лея оскалилась и зарычала. Тележкой парализованного она стала наезжать на Бройдина. Арье-Лейб начал, как всегда, с иносказаний, с притч, крадущихся издалека и к цели, не всем видимой.

Он начал с притчи о рабби Осии, отдавшем свое имущество детям, сердце – жене, страх – богу, подать – цезарю и оставившему себе только место под масличным деревом, где солнце, закатываясь, светило дольше всего. От рабби Осии Арье-Лейб перешел к доскам для нового гроба и к пайку.

Бройдин расставил ноги в крагах и слушал, не поднимая глаз. Коричневое ограждение его бороды лежало неподвижно на новом френче; он, казалось, отдается печальным и мирным мыслям.

– Ты простишь меня, Арье-Лейб, – Бройдин вздохнул, обращаясь к кладбищенскому мудрецу, – ты простишь меня, если я скажу, что не могу не видеть в тебе задней мысли и политического элемента... За твоей спиной я не могу не видеть, Арье-Лейб, тех, кто знает, что они делают, точно так же, как и ты знаешь, что ты делаешь...

Тут Бройдин поднял глаза. Они мгновенно залились белой водой бешенства. Трясущиеся холмы его зрачков уперлись в стариков.

– Арье-Лейб, – сказал Бройдин сильным своим голосом, – прочитай телеграммы из Татреспублики, где крупные количества татар голодают, как безумные... Прочитай воззвание питерских пролетариев, которые работают и ждут, голодая, у своих станков...

– Мне некогда ждать, – прервал заведующего Арье-Лейб, – у меня нет времени...

– Есть люди, – ничего не слыша, гремел Бройдин, – которые живут хуже тебя, и есть тысячи людей, которые живут хуже тех, кто живет хуже тебя... Ты сеешь неприятности, Арье-Лейб, ты получишь завирюху. Вы будете мертвыми людьми, если я отвернусь от вас. Вы умрете, если я пойду своей дорогой, а вы своей. Ты умрешь, Арье-Лейб. Ты умрешь, Симон-Вольф. Ты умрешь, Меер Бесконечный. Но перед тем, как вам умереть, скажите мне, – я интересуюсь это знать, – есть у нас советская власть или, может быть, ее нет у нас? Если ее нет у нас и я ошибся, – тогда отведите меня к господину Берзону на угол Дерibasовской и Екатерининской, где я отработал жилеточником все годы моей жизни... Скажи мне, что я ошибся, Арье-Лейб...

И заведующий кладбищем вплотную подошел к калекам. Трясущиеся его зрачки были выпущены на них. Они неслись на помертвевшее, застонавшее стадо, как лучи прожекторов, как языки пламени. Краги Бройдина трещали, пот кипел на изрытом лице, он все ближе подступал к Арье-Лейбу и требовал ответа – не ошибся ли он, считая, что советская власть уже наступила...

Арье-Лейб молчал. Молчание это могло бы стать его гибелью, если бы в конце аллеи не показался босой Федька Степун в матросской рубахе.

Федьку контузили когда-то под Ростовом, он жил на излечении в хибарке рядом с кладбищем, носил на оранжевом полицейском шнуре свисток и наган без кобуры.

Федька был пьян. Каменные завитки кудрей выложены были на его лбу. Под завитками кривилось судорогой скуластое лицо. Он подошел к могиле Лугового, обнесенной увядшими венками.

– Где ты был, Луговой, – сказал Федька покойнику, – когда я Ростов брал?..

Матрос заскрипел зубами, засвистел в полицейский свисток и вытащил из-за пояса наган. Вороненое дуло револьвера осветилось.

– Подавили царей, – закричал Федька, – нету царей... Всем без гробов лежать...

Матрос сжимал револьвер. Грудь его была обнажена. На ней татуировкой разрисовано было слово «Рива» и дракон, голова которого загибалась к соску.

Могильщики с поднятыми вверх лопатами столпились вокруг Федьки. Женщины, обмывавшие покойников, вышли из своих клетей и приготовились реветь вместе с Добой-Леей. Воюющие волны бились о запертые кладбищенские ворота.

Родственники, привезшие покойников на тачках, требовали, чтобы их впустили. Нищие колотили костылями об решетки.

– Подавили царей. – Матрос выстрелил в небо.

Люди прыжками понеслись по аллее. Бройдин медленно покрывался бледностью. Он поднял руку, согласился на все требования богадельни и, повернувшись по-солдатски, ушел в контору. Ворота в то же мгновение разъехались. Родственники умерших, толкая перед собой тележки, бойко катили их по дорожкам. Самозванные канторы пронзительными фальце-

тами запели «Эль молей рахим»⁹ над разрытыми могилами. Вечером они отпраздновали свою победу у Криворучки. Федьке поднесли три кварты бессарабского вина.

– «Гэвэл гаволим»¹⁰, – чокаясь с матросом, сказал Арье-Лейб, – ты душа-человек, с тобой можно жить... «Кулой гэвэл»...¹¹

Хозяйка, жена Криворучки, перемывала за стенкой стаканы.

– Если у русского человека попадается хороший характер, – заметила мадам Криворучка, – так это действительно роскошь...

Федьку вывели во втором часу ночи.

– Гэвэл гаволим, – бормотал он губительные непонятные слова, пробираясь по Стеновой улице, – кулой гэвэл...

На следующий день старикам в богадельне выдали по четыре куска пиленого сахару и мясо к борщу. Вечером их повезли в Городской театр на спектакль, устроенный Соцобесом. Шла «Кармен». Впервые в жизни инвалиды и уродцы увидели золоченые ярусы одесского театра, бархат его барьеров, масляный блеск его люстр. В антрактах всем роздали бутерброды с ливерной колбасой.

На кладбище стариков отвезли на военном грузовике. Взрываясь и грохоча, он пролагал свой путь по замерзшим улицам. Старики заснули с оттопыренными животами. Они отпрыгивались во сне и дрожали от сытости, как забегавшиеся собаки.

Утром Арье-Лейб встал раньше других. Он обратился к востоку, чтобы помолиться, и увидел на дверях объявление. В бумажке этой Бройдин извещал, что богадельня закрывается для ремонта и все призреваемые имеют сего числа явиться в Губернский отдел социального обеспечения для перерегистрации по трудовому признаку.

Солнце всплыло над верхушками зеленой кладбищенской роши. Арье-Лейб поднес пальцы к глазам. Из потухших впадин выдавилась слеза.

Каштановая аллея, светясь, уходила к мертвецкой. Каштаны были в цвету, деревья несли высокие белые цветы на растопыренных лапах. Незнакомая женщина в шали, туго подхватывавшей грудь, хозяйничала в мертвецкой. Там все было переделано наново – стены украшены елками, столы выскоблены. Женщина обмывала младенца. Она ловко ворочала его с боку на бок: вода бриллиантовой струей стекала по вдавившейся, пятнистой спинке.

Бройдин в крагах сидел на ступеньках мертвецкой. У него был вид отдыхающего человека. Он снял свое кепи и вытирал лоб желтым платком.

– В союзе я так и сказала товарищу Андрейчику, – голос незнакомой женщины был певуч, – мы работы не бежим... О нас пусть спросят в Екатеринославе... Екатеринослав знает нашу работу...

– Устраивайтесь, товарищ Блюма, устраивайтесь, – мирно сказал Бройдин, пряча в карман желтый платок, – со мной можно ладить... Со мной можно ладить, – повторил он и обратил сверкающие глаза к Арье-Лейбу, подтащившемуся к самому крыльцу, – не надо только плевать мне в кашу...

Бройдин не окончил своей речи: у ворот остановилась пролетка, запряженная высокой вороной лошадей. Из пролетки вылез заведующий комхозом в отложной рубашке. Бройдин подхватил его и повел к кладбищу.

Старый портняжеский подмастерье показал своему начальнику столетнюю историю Одессы, покоящуюся под гранитными плитами. Он показал ему памятники и склепы экспортеров пшеницы, корабельных маклеров и негоциантов, построивших русский Марсель на месте поселка Хаджибей. Они лежали тут – лицом к воротам – Ашкенази, Гессены и Эфрусси, лоще-

⁹ Заупокойная еврейская молитва.

¹⁰ Суета сует (*евр.*).

¹¹ И всяческая суета... (*евр.*).

ные скупцы, философические гуляки, создатели богатств и одесских анекдотов. Они лежали под памятниками из лабрадора и розового мрамора, отгороженные цепями каштанов и акаций от плёбса, жавшегося к стенам.

– Они не давали жить при жизни, – Бройдин стучал по памятнику сапогом, – они не давали умереть после смерти...

Воодушевившись, он рассказал заведующему комхозом свою программу переустройства кладбища и план кампании против погребального братства.

– И вот этих убрать, – заведующий указал на нищих, выстроившихся у ворот.

– Делается, – ответил Бройдин, – понемножку все делается...

– Ну, двигай, – сказал заведующий Майоров, – у тебя, отец, порядочек... Двигай...

Он занес ногу на подножку пролетки и вспомнил о Федьке.

– Это что за петрушка была?..

– Контуженый парень, – опустив глаза, сказал Бройдин, – и бывает невыдержанный... Но теперь ему объяснили, и он извиняется...

– Варит котелок, – сказал Майоров своему спутнику, отъезжая, – ворочает как надо...

Высокая лошадь несла к городу его и заведующего отделом благоустройства. По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богадельни. Они прихрамывали, согнувшись под узелками, и плелись молча. Разбитные красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели. Свист удушья, покорное хрипение вырывалось из груди отставных канторов, свадебных шутов, поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков.

Солнце стояло высоко. Зной терзал грудь лохмотьев, тащившихся по земле. Дорога их лежала по безрадостному, выжженному каменистому шоссе, мимо глинобитных хибарок, мимо полей, задавленных камнями, мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами, и чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу.

Фроим Грач

В девятнадцатом году люди Бени Крика напали на арьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Одесского Совета три дня «мирного восстания», но разрешения не получили и вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных на Александровском проспекте. Деятельность их перенеслась потом на Общество взаимного кредита. Пропуская вперед клиентов, они входили в банк и обращались к артельщикам с просьбой положить в автомобиль, ждавший на улице, тюки с деньгами и ценностями. Прошел месяц, прежде чем их стали расстреливать. Тогда нашлись люди, сказавшие, что к делам поимки и арестов имеет отношение Арон Пескин, владелец мастерской. В чем состояла работа этой мастерской – установлено не было. На квартире Пескина стоял станок – длинная машина с покоробленным свинцовым валом; на полу валялись опилки и картон для переплетов.

Однажды в весеннее утро приятель Пескина Миша Яблочко постучался к нему в мастерскую.

– Арон, – сказал гость Пескину, – на улице дивная погода. В моем лице ты имеешь типа, который способен захватить с собой полбутылки с любительской закуской и поехать кататься по воздуху в Аркадию... Ты можешь смеяться над таким субъектом, но я любитель сбросить иногда все эти мысли с головы...

Пескин оделся и поехал с Мишей Яблочко на штейгере в Аркадию. Они катались до вечера; в сумерках Миша Яблочко вошел в комнату, где мадам Пескина мыла в корыте четырнадцатилетнюю свою дочь.

– Приветствую, – сказал Миша, снимая шляпу, – мы бесподобно провели время. Воздух – это что-то небывалое, но только надо наесться горохом, прежде чем говорить с вашим мужем... Он имеет надоедливый характер.

– Вы нашли кому рассказывать, – произнесла мадам Пескина, хватая дочь за волосы и мотая ее во все стороны. – Где он, этот авантюрист?

– Он отдыхает в палисаднике.

Миша снова приподнял шляпу, простился и уехал на штейгере. Мадам Пескина, не дождавшись мужа, пошла за ним в палисадник. Он сидел в шляпе панама, облокотившись о садовый стол, и скалил зубы.

– Авантюрист, – сказала ему мадам Пескина, – ты еще смеешься... У меня делается припадок от твоей дочери, она не хочет мыть голову... Пойди, имей беседу с твоей дочерью...

Пескин молчал и все скалил зубы.

– Бонабак, – начала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу панама и закричала.

Соседи сбежались на ее крик.

– Он не живой, – сказала им мадам Пескина. – Он мертвый.

Это была ошибка. Пескину в двух местах прострелили грудь и проломили череп, но он жил еще. Его отвезли в еврейскую больницу. Не кто другой, как доктор Зильберберг, сделал раненому операцию, но Пескину не посчастливилось – он умер под ножом. В ту же ночь Чека арестовала человека по прозвищу Грузин и его друга Колю Лapidуса. Один из них был кучером Миши Яблочко, другой ждал экипаж в Аркадии, на берегу моря у поворота, ведущего в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миша Яблочко ушел из засады. След его потерялся, и несколько дней прошло прежде, чем на двор к Фроиму Грачу пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром. Одна бровь ее мохнатым угольным кустом была поднята кверху, другая, едва намеченная, загибалась над веком. Фроим Грач сидел, расставив ноги, у конюшни и играл со своим внуком Аркадием.

Мальчик этот три года назад выпал из могучей утробы дочери его Баськи. Дед протянул Аркадию палец, тот охватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине.

– Ты – чепуха... – сказал внуку Фроим, глядя на него единственным глазом.

К ним подошла старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах, перевязанных бечевкой.

– Фроим, – произнесла старуха, – я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас в погребках, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью... Их надо грызть зубами, этих людей, и вытаскивать из них сердце... Ты молчишь, Фроим, – прибавил Миша Яблочко, – ребята ждут, что ты перестанешь молчать...

Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии.

– Барышни, – сказал им Миша Яблочко, – я не угощу вас чаем с семитатью...¹²

Он насыпал им в карман платиц семечек из стакана и исчез, обогнув церковь.

Фроим Грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне, разьевшиися матки паслись с жеребятами на усадьбе. В тени под каштаном кучера играли в карты и прихлебывали вино из черепков. Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены, солнце в голубом своем оцепенении лилось над двором. Фроим встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим тающим дымом своих кухонь, и площадь Толкучего рынка, где люди, завернутые в занавеси и гардины, продавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрице и вошел в здание Чека.

– Я Фроим, – сказал он коменданту, – мне надо до хозяина.

Председателем Чека в то время был Владислав Симен, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроима, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить его о посетителе.

– Это грандиозный парень, – ответил Боровой, – тут вся Одесса пройдет перед вами...

И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой.

– Хозяин, – сказал вошедший, – кого ты бьешь?.. Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?..

Симен сделал движение и приоткрыл ящик стола.

– Я пусто, – сказал тогда Фроим, – в руках у меня ничего нет, и в чеботах у меня ничего нет, и за воротами на улице я никого не оставил... Отпусти моих ребят, хозяин, скажи твою цену...

Старика усадили в кресло, ему принесли коньяку. Боровой вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы.

– Я покажу вам одного парня, – сказал он, – это эпопея, второго нет...

И Боровой рассказал о том, что одноглазый Фроим, а не Беня Крик, был истинным главой сорока тысяч одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика – разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападения на добровольцев и на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтоб поговорить с ним. Фроим не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор. Фроим Грач лежал там распростертый под брезентом у стены, увитой плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом.

– Чисто медведь, – сказал старший, увидев Борового, – это сила непомерная... Такого старика не убить, ему б износу не было... В нем десять зарядов сидит, а он все лезет...

Красноармеец раскраснелся, глаза его блестели, картуз сбился набок.

¹² бублик с кунжутом.

– Мелешь больше пуду, – прервал его другой конвоир, – помер и помер, все одинакие...

– Ан не все, – вскричал старший, – один просится, кричит, другой слова не скажет... Как это так можно, чтобы все одинакие...

– У меня они все одинакие, – упрямо повторил красноармеец помоложе, – все на одно лицо, я их не разбираю...

Боровой наклонился и отвернул брезент. Grimаса движения осталась на лице старика.

Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, обитый атласом. Там шло собрание о новых правилах делопроизводства. Симен делал доклад о беспорядках, которые он застал, о неграмотных приговорах, о бессмысленном ведении протоколов следствия. Он настаивал на том, чтоб следователи, разбившись на группы, начали занятия с юристконсультами и вели бы дела по формам и образцам, утвержденным Главным управлением в Москве. Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Симен подошел к нему после собрания и взял за руку.

– Ты сердишься на меня, я знаю, – сказал он, – но только мы власть, Саша, мы – государственная власть, это надо помнить...

– Я не сержусь, – ответил Боровой и отвернулся, – вы не одессит, вы не можете этого знать, тут целая история с этим стариком...

Они сели рядом, председатель, которому исполнилось двадцать три года, со своим подчиненным. Симен держал руку Борового в своей руке и пожимал ее.

– Ответь мне как чекист, – сказал он после молчания, – ответь мне как революционер – зачем нужен этот человек в будущем обществе?

– Не знаю, – Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой, – наверное, не нужен...

Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова начал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фроима Грача, об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему, все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое...

Закат

Однажды Левка, младший из Криков, увидел Любкину дочь Табл. Табл по-русски значит голубка. Он увидел ее и ушел на трое суток из дому. Пыль чужих мостовых и герань в чужих окнах доставляли ему отраду. Через трое суток Левка вернулся домой и застал отца своего в палисаднике. Отец его вечерял. Мадам Горобчик сидела рядом с мужем и озиралась, как убийца.

– Уходи, грубый сын, – сказал папаша Крик, завидев Левку.

– Папаша, – ответил Левка, – возьмите камертон и настройте ваши уши.

– В чем суть?

– Есть одна девушка, – сказал сын. – Она имеет блондинный волос. Ее зовут Табл. Табл по-русски значит голубка. Я положил глаз на эту девушку.

– Ты положил глаз на помойницу, – сказал папаша Крик, – а мать ее бандерша.

Услышав отцовские слова, Левка засучил рукава и поднял на отца богохульственную руку. Но мадам Горобчик вскочила со своего места и встала между ними.

– Мендель, – завизжала она, – набей Левке вывеску! Он скушал у меня одиннадцать котлет...

– Ты скушал у матери одиннадцать котлет! – закричал Мендель и подступил к сыну, но тот вывернулся и побежал со двора, и Венчик, его старший брат, увязался за ним следом. Они до ночи кружили по улицам, они задыхались, как дрожжи, на которых всходит мщение, и под конец Левка сказал брату своему Бене, которому через несколько месяцев суждено было стать Беней Королем.

– Бенчик, – сказал он, – возьмем это на себя, и люди придут целовать нам ноги. Убьем папашу, которого Молдава не называет уже Мендель Крик. Молдава называет его Мендель Погром. Убьем папашу, потому что можем ли мы ждать дальше?

– Еще не время, – ответил Бенчик, – но время идет. Слушай его шаги и дай ему дорогу. Посторонись, Левка.

И Левка посторонился, чтобы дать времени дорогу. Оно тронулось в путь – время, древний кассир, – и повстречалось в пути с Двойрой, сестрой Короля, с Манассе, кучером, и с русской девушкой Марусей Евтушенко.

Еще десять лет тому назад я знал людей, которые хотели иметь Двойру, дочь Менделя Погрома, но теперь у Двойры болтается зуб под подбородком и глаза ее вываливаются из орбит. Никто не хочет иметь Двойру. И вот отыскался недавно пожилой вдовец с взрослыми дочерьми. Ему понадобилась полуторная площадка и пара коней. Узнав об этом, Двойра выстирала свое зеленое платье и развесила его во дворе. Она собралась идти к вдовцу, чтобы узнать, насколько он пожилой, какие кони ему нужны и может ли она его получить. Но папаша Крик не хотел вдовцов. Он взял зеленое платье, спрятал его в свой биндюг и уехал на работу. Двойра развела утюг, чтобы выгладить платье, но она не нашла его. Тогда Двойра упала на землю и получила припадок. Братья подтащили ее к водопроводному крану и облили водой. Узнаете ли вы, люди, руку отца их, прозванного Погромом?

Теперь о Манассе, старом кучере, ездящем на Фрейлине и Соломоне Мудром. На погибель свою он узнал, что кони старого Буциса, и Фроима Грача, и Хаима Дронга подкованы резиной. Глядя на них, Манассе пошел к Пятирубелю и подбил резиной Соломона Мудрого. Манассе любил Соломона Мудрого, но папаша Крик сказал ему:

– Я не Хаим Дронг и не Николай Второй, чтобы кони мои работали на резине.

И он взял Манассе за воротник, поднял его к себе на биндюг и поехал со двора. На протянутой его руке Манассе висел, как на виселице. Закат варился в небе, густой закат, как варе-

нье, колокола стонали на Алексеевской церкви, солнце садилось за Ближними Мельницами, и Левка, хозяйский сын, шел за биндюгом, как собака за хозяином.

Несметная толпа бежала за Криками, как будто они были карета скорой помощи, и Манассе неумоимо висел на железной руке.

– Папаша, – сказал тогда отцу Левка, – в вашей протянутой руке вы сжимаете мне сердце. Бросьте его, и пусть оно катится в пыли.

Но Мендель Крик даже не обернулся. Лошади несли вскачь, колеса гремели, и у людей был готовый цирк. Биндюг выехал на Дальницкую к кузнице Ивана Пятирубеля. Мендель потер кучера Манассе об стенку и бросил его в кузню на груды железа. Тогда Левка побежал за ведром воды и вылил его на старого кучера Манассе. Узнаете ли вы теперь, люди, руку Менделя, отца Криков, прозванного Погромом?

– Время идет, – сказал однажды Бенчик, и брат его Левка посторонился, чтобы дать времени дорогу. И так стоял Левка в сторонке, пока не занеслась Маруся Евтушенко.

– Маруся занеслась, – стали шушукаться люди, и папаша Крик смеялся, слушая их.

– Маруся занеслась, – говорил он и смеялся, как дитя, – горе всему Израилю, кто эта Маруся?

В эту минуту Бенчик вышел из конюшни и положил папаше руку на плечо.

– Я любитель женщин, – сказал Бенчик строго и передал папаше двадцать пять рублей, потому что он хотел, чтобы вычистка была сделана доктором и в лечебнице, а не у Маруси на дому.

– Я отдам ей эти деньги, – сказал папаша, – и она сделает себе вычистку, иначе пусть не дожить мне до радости.

И на следующее утро, в обычный час, он выехал на Налетчике и Любезной Супруге, а в обед на двор к Крикам явилась Маруся Евтушенко.

– Венчик, – сказала она, – я любила тебя, будь ты проклят.

И швырнула ему в лицо десять рублей. Две бумажки по пяти – это никогда не было больше десяти.

– Убьем папашу, – сказал тогда Венчик брату своему Льву, и они сели на лавочку у ворот, и рядом с ними сел Семен, сын дворника Анисима, человек семи лет. И вот, кто бы сказал, что такое семилетнее ничто уже умеет любить и что оно умеет ненавидеть. Кто знал, что оно любит Менделя Крика, а оно любило.

Братья сидели на лавочке и высчитывали, сколько лет может быть папаше и какой хвост тянется за шестьюдесятью его годами, и Семен, сын дворника Анисима, сидел с ними рядом.

В тот час солнце не дошло еще до Ближних Мельниц. Оно лилось в тучи, как кровь из распоротого кабана, и на улицах громыхали площадки старого Буциса, возвращавшиеся с работы. Скотницы доили уже коров в третий раз, и работницы мадам Парабелюм таскали ей на крыльцо ведра вечернего молока. И мадам Парабелюм стояла на крыльце, хлопала в ладоши.

– Бабы, – кричала она, – свои бабы и чужие бабы, Берта Ивановна, мороженщики и кефирщики! Подходите за вечерним молоком.

Берта Ивановна, учительница немецкого языка, которая получала за урок две кварталы молока, первая получила свою порцию. За ней подошла Двойра Крик для того, чтобы посмотреть, сколько воды налила мадам Парабелюм в свое молоко и сколько соды она всыпала в него.

Но Бенчик отозвал сестру в сторону.

– Сегодня вечером, – сказал он, – когда ты увидишь, что старик убил нас, подойди к нему и провали ему голову друшляком. И пусть настанет конец фирме Мендель Крик и сыновья.

– Аминь, в добрый час, – ответила Двойра и вышла за ворота. И она увидела, что Семена, сына Анисима, нет больше во дворе и что вся Молдаванка идет к Крикам в гости.

Молдаванка шла толпами, как будто во дворе у Криков были перекидки. Жители шли, как идут на Ярмарочную площадь во второй день Пасхи. Кузнечный мастер Иван Пятирубель

прихватил беременную невестку и внучат. Старый Буцис привел племянницу, приехавшую на лиман из Каменец-Подольска. Табл пришла с русским человеком. Она опиралась на его руку и играла лентой от косы. Позже всех прискакала Любка на чалом жеребце. И только Фроим Грач пришел совсем один, рыжий, как ржавчина, одноглазый и в парусиновой бурке.

Люди расселись в палисаднике и вынули угощение. Мастеровые разулись, послали детей за пивом и положили головы на животы своих жен. И тогда Левка сказал Бенчику, своему брату:

– Мендель Погром нам отец, – сказал он, – а мадам Горобчик нам мать, а люди – псы, Бенчик. Мы работаем для псов.

– Надо подумать, – ответил Бенчик, но не успел он произнести этих слов, как гром грянул на Головковской. Солнце взлетело кверху и завертелось, как красная чаша на острие копья. Биндюг старика мчался к воротам. Любезная Супруга была в мыле. Налетчик рвал упряжку. Старик взвил кнут над взбесившимися конями. Растопыренные ноги его были громадны, малиновый пот кипел на его лице, и он пел песни пьяным голосом. И тут-то Семен, сын Анисима, скользнул, как змея, мимо чьих-то ног, выскочил на улицу и закричал изо всех сил:

– Заворачивайте биндюг, дяденька Крик, бо сыны ваши хотят лупцовать вас...

Но было поздно. Папаша Крик на взмыленных конях влетел во двор. Он поднял кнут, он открыл рот и... умолк. Люди, рассевшиеся в палисаднике, пучили на него глаза. Бенчик стоял на левом фланге у голубятни. Левка стоял на правом фланге у дворницкой.

– Люди и хозяева! – сказал Мендель Крик чуть слышно и опустил кнут. – Вот смотрите на мою кровь, которая заносит на меня руку.

И, соскочив с биндюга, старик кинулся к Бене и размозжил ему кулаком переносье. Тут подоспел Левка и сделал что мог. Он перетасовал лицо своему отцу, как новую колоду. Но старик был сшит из чертовой кожи, и петли этой кожи были заметаны чугуном. Старик вывернул Левке руки и кинул на землю рядом с братом. Он сел Левке на грудь, и женщины закрыли глаза, чтобы не видеть выломанных зубов старика и лица, залитого кровью. И в это мгновение жители неопикуемой Молдавы услышали быстрые шаги Двойры и ее голос:

– За Левку, – сказала она, – за Венчика, за меня, Двойру, и за всех людей, – и провалила папаше голову друшляком. Люди вскочили на ноги и побежали к ним, размахивая руками. Они оттащили старика к водопроводу, как когда-то Двойру, и открыли кран. Кровь текла по желобу, как вода, и вода текла, как кровь. Мадам Горобчик протискалась боком сквозь толпу и приблизилась, подпрыгивая, как воробей.

– Не молчи, Мендель, – сказала она шепотом, – кричи что-нибудь, Мендель...

Но, услышав тишину во дворе и увидев, что старик приехал с работы и кони не распряжены и никто не льет воды на разогревшиеся колеса, она кинулась прочь и побежала по двору, как собака о трех ногах. И тогда почетные хозяева подошли ближе. Папаша Крик лежал борою кверху.

– Каюк, – сказал Фроим Грач и отвернулся.

– Крышка, – сказал Хаим Дронг, но кузнечный мастер Иван Пятирубель помахал указательным пальцем перед самым его носом.

– Трое на одного, – сказал Пятирубель, – позор для всей Молдавы, но еще не вечер. Не видел я еще того хлопца, который кончит старого Крика...

– Уже вечер, – прервал его Арье-Лейб, неведомо откуда взявшийся, – уже вечер, Иван Пятирубель. Не говори «нет», русский человек, когда жизнь шумит тебе «да».

И, усевшись возле папаша, Арье-Лейб вытер ему платком губы, поцеловал его в лоб и рассказал ему о царе Давиде, о царе над евреями, имевшем много жен, много земель и сокровищ и умевшем плакать вовремя.

– Не скули, Арье-Лейб, – закричал ему Хаим Дронг и стал толкать Арье-Лейба в спину, – не читай нам панихид, ты не у себя на кладбище!

И, оборотившись к папаше Крику, Хаим Дронг сказал:

– Вставай, старый ломовик, прополощи глотку, скажи нам что-нибудь грубое, как ты это умеешь, старый грубиян, и приготовь пару площадок на утро, бо мне надо возить отходы...

И весь народ стал ждать, что скажет Мендель насчет площадок. Но он молчал долго, потом открыл глаза и стал разевать рот, залепленный грязью и волосами, и кровь проступила у него между губами.

– У меня нет площадок, – сказал папаша Крик, – меня сыны убили. Пусть сыны хозяйничают.

И вот не надо завидовать тем, кто хозяйничает над горьким наследием Менделя Крика. Не надо им завидовать, потому что все кормушки в конюшне давно сгнили, половину колес надо было перешиновать. Вывеска над воротами развалилась, на ней нельзя было прочесть ни одного слова, и у всех кучеров истлело последнее белье. Полгорода было должно Менделю Крику, но кони, выбирая овес из кормушки, вместе с овсом слизывали цифры, написанные мелом на стене. Целый день к ошеломленным наследникам ходили какие-то мужики и требовали денег за сечку и ячмень. Целый день ходили женщины и выкупали из заклада золотые кольца и никелированные самовары. Покой ушел из дома Криков, но Беня, которому через несколько месяцев суждено было сделаться Бенею Королем, не сдался и заказал новую вывеску «Извозопромышленное заведение Мендель Крик и сыновья». Это должно было быть написано золотыми буквами по голубому полю и перевито подковами, отделанными под бронзу. Он купил еще штуку полосатого тика на исподники для кучеров и неслыханный лес для ремонта площадок. Он подрядил Пятирубеля на целую неделю и завел квитанции для каждого заказчика. И к вечеру следующего дня, знайте это, люди, он умирал больше, чем если бы сделал пятнадцать туров из Арбузной гавани на Одессу Товарную. И к вечеру, знайте это, люди, он не нашел дома ни крошки хлеба и ни одной перемытой тарелки. Теперь обнимите умом заядлое варварство мадам Горобчик. Невыметенное сметье лежало в комнатах, небывалый телячий холодец выбросили собакам. И мадам Горобчик торчала у мужниной лежанки, как облитая помоями ворона на осенней ветке.

– Возьми их под заметку, – сказал тогда Бенчик младшему брату, – держи их под микроскопом, эту пару новобрачных, потому, сдастся мне, Левка, они копают на нас.

Так сказал Левке брат его Бенчик, видевший всех насквозь своими глазами Бени Короля, но он, Левка-подпасок, не поверил и лег спать. Папаша его тоже храпел уже на своих досках, а мадам Горобчик ворочалась с боку на бок. Она плевала на стены и харкала на пол. Вредный характер ее мешал ей спать. Под конец заснула и она. Звезды рассыпались перед окном, как солдаты, когда они оправляются, зеленые звезды по синему полю. Граммофон наискосок, у Петьки Овсяницы, заиграл еврейские песни, потом и граммофон умолк. Ночь занималась себе своим делом, и воздух, богатый воздух лился в окно к Левке, младшему из Криков. Он любил воздух, Левка. Он лежал, и дышал, и дремал, и игрался с воздухом. Богатое настроение испытывал он, и это было до тех пор, пока на отцовской лежанке не послышался шорох и скрип. Парень прикрыл тогда глаза и выкатил на позицию уши. Папаша Крик поднял голову, как нюхающая мышь, и сполз с лежанки. Старик вытянул из-под подушки торбочку с монетой и перекинул через плечо сапоги. Левка дал ему уйти, потому что куда он мог уйти, старый пес? Потом парень вылез вслед за отцом и увидел, что Бенчик ползет с другой стороны двора и держится у стенки. Старик подкрался неслышно к биндюгам, он всунул голову в конюшню и засвистал лошадям, и лошади сбежались, чтобы потереться мордами об Менделеву голову. Ночь была во дворе, засыпанная звездами, синим воздухом и тишиной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.